

ДЕЛО ГОЛУБОЙ ЛЕНТЫ



ДЕЛО №

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

ДЕНИС ВЯЗЕМСКИЙ

Денис Вяземский
Дело Голубой Ленты

«Автор»

2026

Вяземский Д.

Дело Голубой Ленты / Д. Вяземский — «Автор», 2026

Москва, 1950-е. У девушек из самых престижных институтов находят синие ленты — последние метки серийного убийцы. Молодой следователь Матвеев, недавний провинциал, быстро понимает, что следы ведут в высшие круги, а улики растворяются в воздухе. Единственная нить — давно закрытое дело тридцатых, чьи документы бесследно исчезли из архивов. Расследование превращается в опасную игру с теневыми фигурами послевоенной элиты, где убийца демонстрирует не просто жестокость, а полную власть над системой. Чтобы остановить маньяка, Матвееву придётся раскопать старые секреты, которые страшнее самих преступлений...

© Вяземский Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Синяя лента на Моховой	5
Цитата из небытия	11
Тени тридцатых	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Денис Вяземский

Дело Голубой Ленты

Синяя лента на Моховой

Холод пришел в Москву неожиданно, как незванный, но давно ожидаемый гость. Он просочился сквозь щели в рамах старых особняков на Моховой, повис ледяным дыханием над недавно уложенным асфальтом, заставил прохожих кутаться в пальто, еще пахнущие нафталином из зимних сундуков. Утро было серым, безветренным и густым, как студень. Воздух пахнет мокрым камнем, угольной пылью от истопленных за ночь печей и далеким, едва уловимым дымком листопада – где-то во дворах жгли прошлогоднюю листву.

Сквер был маленьким, ухоженным островком между громадой университетского корпуса и потоком машин на улице. Скамейки, покрашенные свежей зеленой краской, гравийные дорожки, аккуратно подметенные дворником. Место для тихих свиданий студентов, для усталых прогулок пенсионеров. Теперь оно было оцеплено.

Капитан милиции Лев Матвеев стоял в двух шагах от скамейки, стараясь дышать ртом. От тела еще не пахло тлением – только холодом и чужим, дешевым одеколоном. Но был другой запах – резкий, животный, исходивший от двух молодых оперативников, отвернувшихся в сторону и пытавшихся закурить дрожащими руками. Запах страха. Матвеев его знал. В Сибири он пах иначе – более простым, открытым ужасом перед дикостью и кровью. Здесь, в этом аккуратном скверике, страх был тихим, вкрадчивым, как стежок на хорошо сшитом платье.

Девушка сидела, откинувшись на спинку скамейки, будто задремала, читая книгу. Книга – тонкий томик в синем переплете – лежала у нее на коленях, придерживаемая бессильно раскрытой ладонью. На груди, поверх коричневого добротного пальто, был аккуратно приколот маленький золотистый значок: открытая книга и солнце. Значок отличника. Волосы, темно-каштановые, были тщательно причесаны и заплетены в нетугие косы. И в них, чуть выше левого виска, была вплетена лента. Лента из дешевого шелка, ярко-синего, почти ультрамаринового цвета. Она была завязана бантом, концы спадали на плечо. Выглядело это нарядно, даже празднично. И от того – бесконечно чудовищно.

«Театр, – промелькнуло в голове у Матвеева. – Кто-то устроил здесь театр».

Он сделал шаг ближе, скрип гравия под сапогами прозвучал оглушительно громко в притихшем сквере. Взглянул на лицо. Молодое, двадцати с небольшим, с тонкими, интеллигентными чертами. Губы были слегка приоткрыты, глаза закрыты. Ни следов борьбы, ни ссадин на видимых участках кожи. Смерть пришла тихо и, судя по всему, быстро. Предварительно врач, морщась, пробормотал что-то про асфиксию, вероятно, удушение, но без видимых повреждений на шее. Будто жизнь просто вынули из нее, как письмо из конверта.

– Капитан? – кто-то окликнул его сзади.

Матвеев обернулся. К нему подходил участковый, мужчина лет пятидесяти, с обветренным лицом и усталыми глазами. Он держал в руках блокнот.

– Установили. Студентка четвертого курса иняза. Институт иностранных языков, что на Метростроевской. Ольга Светлова. Двадцать два года. Прописана в общежитии на Стромынке. Соседки по комнате говорят, вчера вечером ушла в библиотеку и не вернулась. Обычная девушка, спокойная. Училась хорошо. Из провинции, отец – учитель в райцентре под Горьким.

Матвеев кивнул, глядя мимо участкового, на красный кирпич университетской стены. Провинция. Это слово отозвалось в нем глухим эхом. Сам он был из Иркутска. В Москве – всего четыре месяца. До сих пор чувствовал себя не в своей тарелке, как актер, забывший текст на чужой сцене. Столица не поражала его размахом – поражала своей сложной, многослойной механикой. Казалось, за каждым фасадом скрывается еще одна дверь, за каждым простым ответом – три новых вопроса.

– Родственники извещены?
– Телеграмму послали в райцентр. Мать, отец.
– Подружки, молодой человек?
– По словам соседок, серьезных ухажеров не было. Училась. Готовилась к распределению. Мечтала о переводческой работе.

Матвеев снова повернулся к телу. Его взгляд упал на книгу. Он наклонился, не притрагиваясь. Французский корешок. «Les Fleurs du Mal». Цветы зла. Бодлер. Ирония, горькая и плоская, как монета. Он выпрямился.

– Кто нашел?
– Дворник. В шесть утра, когда начинал мести. Сначала думал, спит. Подошел, окликнул... – участковый замолчал, сглотнув.
– Подойти ко мне, – тихо сказал Матвеев.

Он отошел в сторону, к голым кустам сирени. Участковый последовал за ним.

– Ничего не трогали? Не перемещали?
– Нет. Как было, так и оставили. Вызвали сразу.
– В карманах?
– Пусто. Сумки нет. Документы, вероятно, в сумке. Исчезла.

Матвеев кивнул. Карманная кража с убийством? Слишком чисто, слишком... выверено. Вор не стал бы укладывать тело, причесывать волосы, вплетать ленту. Да и сумку, будь то обычный грабеж, скорее всего, швырнули бы в кусты. Здесь же ее не было вовсе. Значит, забрали. Зачем?

– Организуйте прочесывание всех близлежащих мусорных баков, канализационных люков, кустов. Ищите сумку, женскую, вероятно, портфельного типа. И... любые другие предметы, которые могут показаться необычными. Даже если это просто клочок бумаги.
– Слушаюсь.

Участковый ушел, явно довольный, что может заняться конкретным делом. Матвеев остался один. Он закрыл глаза на секунду, пытаясь отсечь давящую тишину сквера, приглушенные голоса за лентой оцепления, далекий гул трамвая. Нужно было прочувствовать сцену.

Убийца привез тело сюда? Или убил здесь? Если здесь – значит, рисковал быть увиденным из окон. Убил где-то еще, а потом принес и усадил? Тоже риск, но меньший, глубокой ночью. Зачем? Чтобы увидели. Чтобы нашли именно так. Синяя лента... Почему синяя? Почему именно лента?

Он открыл глаза и медленно осмотрел периметр. Сквер просматривался со всех сторон. Освещение? Фонарь в двадцати шагах, его тусклый, желтоватый свет ночью должен был падать сюда, на скамейку. Представьте: ночь, тишина, гравий хрустит под ногами. Человек ведет или несет бездыханное тело. Усаживает его. Поправляет волосы. Достает из кармана ленту, вплетает... Это требует времени. Хладнокровия. Почти что любовной, извращенной тщательности.

«Он наслаждался, – подумал Матвеев с внезапной, ясной горечью. – Это был ритуал».

Из-за оцепления послышался звук подъехавшего автомобиля. «Волга». Двери захлопнулись. Через минуту к нему подошел высокий, подтянутый мужчина в шинели полковничьего покроя, но без погон. Александр Воронин. Его лицо, с правильными, чуть усталыми чертами и проседью у висков, было спокойно, как поверхность глубокого озера.

– Капитан Матвеев, – голос у Воронина был негромкий, но плотный, заполняющий пространство. – Доложите обстановку. Своими словами.

Матвеев отдал честь, кратко изложил факты. Воронин слушал, не перебивая, глядя не на него, а на скамейку с той бесстыдной, профессиональной отстраненностью, которая хуже любого осуждения. Когда Матвеев закончил, полковник помолчал.

– «Цветы зла»... Ирония судьбы, – произнес он наконец, и в его голосе Матвеев уловил едва заметную, ледяную ноту. – Ваше первое серьезное дело в Москве, капитан. Первое самостоятельное. Как думаете, с чего начнете?

Вопрос был проверкой. Матвеев это понимал.

– С установления последнего маршрута и круга общения. Нужно понять, где и у кого она была вчера. Библиотека – первое. Потом – подробный обыск в ее комнате в общежитии. Лента... Нужно выяснить, была ли это ее лента. Если нет – искать источник. Дешевый шелк, массовое производство. Но, возможно, удастся сузить круг.

– Хорошо, – Воронин кивнул. – Работайте. Я даю вам карт-бланш. Любые запросы, любые ресурсы. Но, Лев Анатольевич... – он впервые обратился по имени-отчеству, и от этого стало еще холоднее. – Москва – не тайга. Здесь следы не на снегу остаются. Здесь их... стирают. Будьте внимательны к деталям, которые не лежат на поверхности. И помните: это дело должно быть раскрыто. Чисто. И быстро.

В последних словах прозвучал не приказ, а что-то иное. Предостережение? Обещание? Матвеев не стал уточнять.

– Есть, товарищ полковник.

Воронин еще мгновение постоял, его взгляд скользнул по синему банту, по неподвижному лицу девушки. В уголке его глаза дрогнула какая-то тень – может, усталость, а может, что-то давно знакомое и неприятное. Он развернулся и ушел к машине, не оглядываясь.

Работа закипела. Тело увезли. Криминалисты копошились вокруг скамейки, снимая отпечатки, которых, как все предчувствовали, не будет. Матвеев отдал последние распоряжения и сел в служебный «Москвич». В машине пахло бензином, кожей и табаком. Он опустил стекло, впустив внутрь холодный, промозглый воздух. Руки сами потянулись за папиросой, но он остановил себя. Нужна была ясная голова.

Институт иностранных языков встретил его тишиной коридоров, пахнущих мелом, деревом и чем-то еще – духом сосредоточенного, почти монастырского изучения. Директор, молодая женщина с жестким, как проволока, пучком седых волос, была шокирована, но держалась с подчеркнутой официальной скорбью. Да, Оля Светлова была одной из лучших. Спокойная, серьезная. Из простой семьи. Подавала большие надежды. Нет, конфликтов не было. Ни с кем.

Декан курса, молодой еще мужчина с нервным подергиванием века, добавил немного. Девушка интересовалась не только языками, но и историей. Посещала какие-то дополнительные семинары. В последнее время что-то ее беспокоило, казалась рассеянной. На вопрос, не говорила ли она о чем-то конкретном, декан только развел руками: «Студенческие дела... Может, в личной жизни».

Общежитие на Стромынке было царством тесноты и шума. Длинные коридоры с множеством дверей, обшарпанные стены, запах дешевой пищи с общей кухни. Комната, где жила Оля, была крошечной, на четырех человек. Три другие девушки, бледные, испуганные, сидели на кроватях, похожие на птиц, застигнутых вспышкой света.

Да, Оля вчера ушла в фундаментальную библиотеку на Моховой. Говорила, что ей нужно найти материалы для дипломной работы. Ушла около семи вечера. Библиотека работала до десяти. Она обычно возвращалась к одиннадцати. Вчера не вернулась.

– А что за материалы? – спросил Матвеев, обводя взглядом комнату. Аккуратность была почти болезненной. Заправленные кровати, книги, аккуратно стоящие на полке, плакат с видом Парижа над столом Оли.

– Она что-то искала про довоенные литературные кружки. Французские, кажется, – тихо сказала одна из девушек, рыженькая, с заплаканными глазами. – Говорила, что это для контекста.

– Контекста чего?

– Не знаю. Она не объясняла. Только в последние дни... она как будто чем-то взволнована была. Я спросила, все ли в порядке. Она ответила: «Надо разобраться в одной старой истории. Или хотя бы понять, можно ли в ней вообще разобраться». Я думала, это про диплом.

Старая история. Фраза повисла в спертом воздухе комнаты, обретая зловещий вес.

Матвеев попросил девушек выйти и начал обыск. Он делал это методично, как учили: не спеша, ощущая каждую вещь. Одежда – скромная, чистая, часто перешитая. Книги – учебники, французская классика, несколько советских романов. В ящике стола, под стопкой конспектов, он нашел блокнот в сером картонном переплете. Не дневник, а скорее рабочие записи.

Конспекты лекций, списки слов, расписание. На последней заполненной странице, датированной позавчерашним днем, было написано аккуратным, чуть угловатым почерком: «Справка в архив? Фонд 7? Лит. объединение «Голубая...»». Далее слово обрывалось, как будто делавшая запись задумалась или ее отвлекли.

Матвеев перечитал строчку несколько раз. «Голубая...» Лента была голубой. Совпадение? В сердце зашевелился холодный, цепкий червь предчувствия. Он вынул блокнот, положил в портфель. Продолжил поиски. Никаких писем, никаких фотографий мужчин. Только одна старая, потертая фотография родителей, стоящих у деревянного дома. Простая, неприязнительная жизнь, оборванная на взлете чьей-то безумной или расчетливой рукой.

Вечером, в своем кабинете в управлении, Матвеев сидел над отчетом. Кабинет был маленьким, с одним окном, выходящим в серый колодец двора. На столе – лампа под зеленым абажуром, телефон, стопки бумаг. Воздух стоял спертый, пропитанный запахом табака, бумажной пыли и остывшего чая из стоящей на подоконнике эмалированной кружки.

Он выписывал на чистый лист ключевые слова: Светлова. Скамейка у Моховой. Удушье. Синяя лента. Бодлер. Значок отличника. Библиотека. Старая история. Фонд 7. «Голубая...»

Звонок телефона разрезал тишину, как нож.

– Матвеев.

– Капитан, это архив библиотеки, – голос в трубке был старческий, сухой, как осенний лист. – Вы запрашивали сведения о читателе Светловой О. Мы проверили журнал. Она была вчера. Заказывала материалы из специального хранения. Дело под номером, относящееся к личному фонду одного литератора конца двадцатых годов. Фонд 7, опись 2.

– И что это было?

– Дело литературного кружка. Название: «Голубая лента». Довоенное, тридцатых годов. Материалы были выданы. Читательница работала с ними в специальном зале до самого закрытия. Дело сдала при сдаче. Все на месте.

– А содержание? О чем там?

Пауза. По проводу послышалось затрудненное дыхание.

– Капитан, это архив. Содержание... Обычная переписка, стихи, протоколы заседаний. Ничего особенного. Кружок был распущен, кажется, в тридцать втором году.

– Кто еще интересовался этим делом в последнее время?

Пауза стала еще длиннее.

– Запросы... они есть. Но это старая история. Никто не помнит.

– Я приеду завтра, – твердо сказал Матвеев. – Мне нужно посмотреть это дело.

– Как скажете, – голос в трубке стал совсем безжизненным. – Только разрешение нужно. Из вашего управления. И... предупреждаю, дело в плохом состоянии. Бумаги ветхие.

Трубку положили. Матвеев медленно вернул телефонную трубку на рычаг. Он сидел неподвижно, глядя на исписанный лист перед собой. Слова «Голубая лента» теперь были написаны четко, обведены в кружок. Из абстрактного символа лента превращалась в конкретное название. В нить.

Он подошел к окну. На дворе стемнело. В окнах противоположного дома горели желтые квадраты огней. Где-то там люди ужинали, смеялись, спорили. А в тихом сквере у Моховой теперь навсегда осталась пустая скамейка, с которой уже смыли мелом контур тела.

Матвеев потрогал рукой холодное стекло. Москва за окном казалась огромным, сложным механизмом, где его маленькое дело было всего лишь крошечной шестеренкой, чей стук никто, кроме него, не слышал. Но этот стук отдавался в нем самом глухим, тревожным гулом. Он чувствовал – это только начало. За красивой, дешевой лентой в волосах мертвой девушки начиналась тропа, уводящая куда-то во тьму. Во тьму прошлого, о котором здесь предпочитали не вспоминать.

Он погасил лампу и остался сидеть в темноте, слушая, как тикают настенные часы, отсчитывая секунды, которые отделяли его от той, старой истории, что уже протянула к нему свои холодные, шелковые щупальца.

Цитата из небытия

Три недели. Двадцать один день, прожитый в странном, липком ритме. Сначала – адреналин, бегодня, опросы. Потом – медленное, мучительное тонущее чувство. Улики, казавшиеся твердыми, рассыпались в пальцах, как труха. Сумку Оли Светловой так и не нашли. Дворники, жильцы окрестных домов, ночные прохожие – никто ничего не видел. В деле «Голубой ленты», которое Матвеев наконец-то выцарапал из библиотечного спецхрана с разрешения Воронина (тот подписал, не глядя, с таким выражением лица, будто ставил печать на собственную отставную), не оказалось ничего криминального. Стихи о любви и грусти, протоколы заседаний с обсуждением французских символистов, несколько фотографий молодых людей в пиджаках и девушек с короткими стрижками, сидящих в уютной, книгами заставленной комнате. Кружок действительно прекратил существование в 1932 году. Формальная причина – «самороспуск». Никаких следов репрессий, арестов. Только тихое, будто по взаимному согласию, угасание. Архивариус, сухонький старичок в роговых очках, пожимал плечами: «Было такое. Молодежь собиралась. Потом жизнь разбросала. Кто на стройки, кто в армию. Обычная история».

Но запись в блокноте Светловой: «Надо разобраться в одной старой истории». И эта история явно была не о мирном самороспуске. Матвеев чувствовал пропасть между официальной версией и тем, что искала студентка. Он опрашивал бывших членов кружка, которых удалось разыскать по старым адресам. Нашел двоих. Один, седой как лунь инженер на заводе ЗИЛ, откровенно испугался, увидев милицееское удостоверение, и твердил одно: «Ничего не помню. Было, молодость, дурачество. Все давно забыто». Второй, пожилой учитель географии в вечерней школе, был более словоохотлив, но его воспоминания были туманны и ностальгичны: «Хорошие были ребята. Читали Есенина, Блока, хотя это уже не приветствовалось. Спорили до хрипоты. Потом... потом как-то сами перестали. Время такое стало. Не до стихов». На вопрос, не было ли давления «сверху», учитель посмотрел куда-то в угол, будто ища там подсказку, и пробормотал: «Нас никто не трогал. Просто... стало страшно. Не за себя, так за других». И все.

Расследование топталось на месте. Воронин вызывал раз в неделю, выслушивал лаконичный доклад, кивал, говорил: «Продолжайте, капитан». Но в его глазах Матвеев читал не разочарование, а скорее ожидание – ожидание, когда тот сам во всем разочаруется и смирится. Давление было не в окриках, а в этой терпеливой, ледяной тишине, в которой его усилия растворялись, как крик в вате.

И вот – второе.

Фундаментальная библиотека МГУ. Не парадные залы с дубовыми галереями для студентов, а служебные помещения в глубине, куда читателей не пускают. Длинный, слабо освещенный коридор, стены которого были заставлены тележками с книгами, ожидающими расстановки. Воздух здесь был особым – густая смесь бумажной пыли, старого клея, древесной влаги от полок и чего-то еще, похожего на запах спящего, неторопливого времени.

Тело лежало на полу, между двумя тележками. Молодая женщина в темно-синем рабочем халате поверх простого платья. Та же картина: удушение. Та же леденящая, почти неестественная аккуратность. Волосы, собранные в пучок, были распущены и теперь рассыпались по

грязному линолеуму темным веером. И в них, чуть выше лба, – та же синяя шелковая лента, вплетенная как ободок.

Матвеев стоял на колене, стараясь не дышать. Вокруг суетились оперативники, вспышки фотоаппаратов озаряли коридор резким, болезненным светом. Но его внимание было приковано к правой руке жертвы. Кисть была сжата в кулак. Но не в судорожной гримасе агонии, а будто что-то удерживала. Аккуратно, с усилием, он разжал холодные, уже деревянные пальцы.

Внутри лежал клочок бумаги. Не современный, гладкий лист, а пожелтевший, с рваным краем, будто вырванный из старой книги или блокнота. Бумага была тонкой, папиросной, с водяными знаками, которые уже почти исчезли. На ней, фиолетовыми, выцветшими чернилами, был написан отрывок стихотворения. Почерк был старомодный, каллиграфический:

*«...И синь вечерняя, как яд в пустом бокале,
Легла на город, сшитый из теней.
Мы были теми, кто молчал в начале,
Чтоб стать призраками у дверей.
И лента цвета незабвенной сини,
Что в волосах твоих мерцала, как обман,
Стала печатью на пути в пустыню,
Где каждый шаг – исчезнувший туман...»*

Ниже, мелким, небрежным почерком, уже карандашом, стояла пометка: «Архив. Фонд 7. Оп.1. Ед.хр. 23. Для справок».

Матвеев поднял голову. Его взгляд встретился со взглядом Сухова, майора из соседнего отдела, который курировал эту территорию. Сухов, полный, рыхлый мужчина с вечно усталым выражением лица, стоял, заложив руки за спину, и смотрел на все с видом человека, которого оторвали от важного, но рутинного занятия.

– Ну что, капитан, – произнес он без особой интонации. – Ваш маньяк, похоже, читать любит. И стариной интересуется.

– Это библиотекарша? – спросил Матвеев, игнорируя колкость.

– Да. Татьяна Ветринская. Двадцать шесть лет. Работала здесь три года. Ответственная, тихая. Жила с матерью в Черкизово. Вчера дежурила до закрытия. Ушла последней, по словам вахтера. Или не ушла.

– Кто нашел?

– Уборщица. Утром.

Матвеев осторожно положил листок в прозрачный пакет. Его пальцы чуть дрожали, но не от страха, а от странного, холодного возбуждения. Убийца не просто повторялся. Он усложнял игру. Он вступал в диалог. Цитата из небытия. Фонд 7. Тот самый фонд. Связь стала осязаемой, как этот шершавый клочок бумаги в руке.

– Нужно найти, откуда этот листок, – сказал он вслух, но скорее себе. – Книгу, журнал, архивное дело.

– Фонд 7 – это спецхран, – буркнул Сухов. – Там одни фонды на сотни ящиков. Искать иголку. Да еще с такими поэтическими наклонностями. Может, это она сама его в руке держала? Читала что-то старое и...

– И умерла, аккуратно распустив волосы и вплетая себе ленту? – резко оборвал его Матвеев.

Сухов надул губы.

– Ваше дело, капитан. Вы и ведете. Я лишь территорию обеспечиваю.

Матвеев поднялся. В коленях хрустнуло от долгого неудобного положения. Он оглядел коридор. Здесь было тихо, только скрип шагов и шепот оперативников. Мир книг, мир, казалось бы, застывшей мудрости, стал сценой для демонстрации жестокого, интеллектуального презрения. Убийца говорил с ним на языке стихов и архивных шифров. И говорил четко: я не случайный душитель. Я знаю, что ты копаешь. И я тебе показываю, где копать дальше.

Опрос коллег Ветринской ничего конкретного не дал. Да, Татьяна помогала студентам работать с фондами. Была внимательна. В последнее время, примерно с тех пор, как убили ту студентку с иныза, что-то нервничала. Одна сотрудница вспомнила: «Она как-то сказала, что к ней приходила та девушка, Светлова. Спрашивала о доступе к одному делу. Татьяна помогала ей оформлять запрос. Потом, после убийства, она, Таня, переживала. Говорила: «Надо же, я ей в руки тот папку давала...»»

Цепочка сомкнулась. Светлова пришла в библиотеку, чтобы работать с делом «Голубой ленты». Ей помогла Ветринская. Обе стали жертвами. Значит, убийца следил за Светловой. Или... имел доступ к журналам запросов в спецхран. Узнал, кто ей помогал. И ликвидировал возможного свидетеля, превратив ее в новое послание.

Вернувшись в управление, Матвеев заперся в кабинете. Он положил перед собой пакет с листком и блокнот Светловой, открытый на странице с записью о «Голубой...». Нужен был экспертный взгляд на стихи. Криминалисты могли установить возраст бумаги и чернил, но смысловая ткань ускользала. Он позвонил в отдел кадров, попросил найти кого-то из литературных консультантов, которые иногда привлекались по делам о самиздате. Ему дали телефон и фамилию: Семенова Нина Павловна, журналистка «Литературной газеты», занимается историей литературы XX века, к ней обращались за экспертизой.

Он позвонил. Трубку взял женский голос, негромкий, четкий, без московской растяжки или провинциального акцента. Что-то среднее, интеллигентное.

– Алло?

– Нина Павловна? Вас беспокоит капитан милиции Матвеев. Мне нужна консультация по одному тексту. Связанному с расследованием.

Пауза. Не испуганная, а оценивающая.

– Расследование? Убийства этих девушек?

– Да.

Еще пауза, более долгая.

– Я читала в сводках. Ужасно. Когда и где вам удобно встретиться?

– Чем скорее, тем лучше. Я могу подъехать.

– Нет, – голос стал тверже. – Не к нам в редакцию. Давайте в кафе. «Артистическое», на Петровке. Через час.

Кафе «Артистическое» было одним из тех мест, где бывала небогатая, но гордая творческая интеллигенция. Небольшой зал с мраморными столиками, стульями с протертой бархатной обивкой, запахом кофе, дорогого по меркам Москвы, и свежей выпечки. Матвеев, в своей серой шинели, чувствовал себя тут инородным телом. На него оглядывались, но быстро отводили глаза – присутствие милиции в таком месте могло означать что угодно, от обычной проверки до интереса к кому-то из завсегдатаев.

Нина Семенова сидела у окна, за чашкой кофе. Он узнал ее сразу – не по описанию, которого не было, а по какой-то внутренней собранности. Ей было лет тридцать пять, не больше. Худое, умное лицо с большими серыми глазами, в которых читалась усталость и любопытство одновременно. Волосы темные, гладко зачесанные назад и собраны в низкий пучок. Одета просто, но со вкусом: шерстяное платье темно-зеленого цвета, поверх него – легкий жакет. На столе лежала папка и книжка в бумажной обложке.

– Капитан Матвеев? – она не улыбнулась, лишь слегка кивнула на стул напротив. – Садитесь. Заказывайте что-нибудь. Здесь неплохой кофе.

Он отказался, сел, чувствуя неловкость от своей громоздкости в этом изящном пространстве. Достал пакет с листком и положил на стол, но не открыл.

– Прежде чем я покажу вам это, Нина Павловна, должен предупредить. Это вещественное доказательство. Связано с убийством.

– Я понимаю, – она отпила глоток кофе, поставила чашку на блюдце без единого звука. – Вы можете мне не доверять. Но если это литературный текст, возможно, я смогу сказать, откуда он. И, может быть, почему он оказался... там.

Он открыл пакет, вынул листок, положил перед ней, придерживая за края. Она наклонилась, не прикасаясь. Ее глаза пробежали по строчкам. Он наблюдал за ее лицом. Сначала – профессиональный интерес, затем легкая тень узнавания, потом – что-то более глубокое, почти тревожное. Она прочла вслух, очень тихо, почти шепотом, последние строки: «...И лента цвета незабвенной сини, / Что в волосах твоих мерцала, как обман...»

– Боже мой, – вырвалось у нее. Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза на секунду. – Это... это из «Голубого сонета».

– Вы знаете?

– Знаю. Это стихотворение Аркадия Лидина. Малоизвестного поэта из круга так называемых «последних романтиков». Конец двадцатых – самое начало тридцатых. Он публиковался в малотиражных альманахах. Потом... потом исчез. Говорили, уехал, забросил поэзию. Сборник, где был «Голубой сонет», вышел в 1931 году мизерным тиражом. Его почти сразу изъяли из библиотек. Не из-за крамолы, а из-за «упаднических настроений». Он стал библиографической редкостью.

– Аркадий Лидин, – повторил Матвеев, записывая в блокнот. – Он был в кружке «Голубая лента»?

Нина Семенова взглянула на него с новым интересом.

– Вы знаете про кружок?

– Сталкивался.

– Да. Лидин был одним из основателей. «Голубая лента» – это отчасти от его стихов. Он любил этот образ. Синь как символ и недостижимой мечты, и тоски, и чего-то... обреченного. Откуда у вас этот листок?

Матвеев вкратце, избегая деталей, объяснил. Вторая жертва, библиотекарь, листок в руке. Пометка «Архив. Фонд 7».

Нина слушала, не перебивая, ее пальцы нервно теребили уголок папки.

– Фонд 7 в той библиотеке – это как раз личные фонды писателей и поэтов того времени, – сказала она задумчиво. – Там должно быть и дело Лидина. И, вероятно, дело кружка. Но зачем убийце оставлять именно эту цитату?

– Может, это его любимые стихи? – мрачно предположил Матвеев.

– Или его послание. Посмотрите: «Мы были теми, кто молчал в начале, / Чтоб стать призраками у дверей». Это же про страх, про вынужденное молчание. Про тех, кто промолчал, когда нужно было говорить, и стал призраком, изгоем. А дальше – про ленту как печать, как клеймо на пути в пустыню... Где каждый шаг – исчезнувший туман. Это стихи о беспамятстве. О стирании. – Она замолчала, взглядываясь в строки. – Убийца словно говорит: я стираю их, как стираются шаги в тумане. И оставляю знак – ленту. Печать.

Холодная логика ее слов совпала с тем, что он смутно чувствовал. Это была не просто жестокость. Это была идея, доведенная до абсурда, до убийства.

– Нина Павловна, – начал он осторожно. – Вы, как журналист, наверное, имеете доступ к разным кругам. К литературной среде, к университетской. Не слышали ли вы в последнее время разговоров о возрождении интереса к тому периоду? К кружку «Голубая лента»? Может, кто-то из молодежи интересовался?

Она задумалась.

– Интерес всегда есть. Но скорее как к музейному экспонату. Типа «как жила интеллигенция перед тем, как...» Вы понимаете. Но чтобы кто-то активно копал... Не слышала. Хотя... – она сделала паузу, выбирая слова. – Недавно, на одном литературном вечере, я разговори-лась с профессором Артамоновым, старым историком литературы. Он упомянул вскользь, что к нему обращалась какая-то студентка с вопросами именно о «Голубой ленте». Спрашивала о судьбе участников. Он отмахнулся, сказал, что все разъехались, забыли. Но его тон... он был настороженным. Я тогда не придавала значения. А теперь...

– Студентка. Светлова, – тихо сказал Матвеев.

– Вероятно.

– Мне нужно поговорить с профессором Артамоновым.

Нина покачала головой.

– Он не станет разговаривать с милицией. Он старый, запуганный человек. Он пережил всё. Но... – она посмотрела прямо на Матвеева, и в ее взгляде появилась решимость. – Я могу попробовать поговорить с ним. Как коллега. Как интересующийся литератор. Узнать, что он знает или подозревает.

Матвеев колебался. Привлекать гражданских, да еще журналистов, было против правил. Сухов, узнай он, поднял бы крик. Воронин... он не знал, как отреагирует Воронин. Но тупик был очевиден. Официальные каналы молчали, архивы выдавали лишь отфильтрованную правду. Ему нужен был ключ, чтобы открыть дверь в это молчание.

– Это может быть опасно, – сказал он наконец. – Убийца уже устранил двух, кто интересовался этой темой.

– Я понимаю риск, – ответила Нина спокойно. – Но я не библиотекарь и не студентка. У меня другая позиция. И, честно говоря, капитан, то, что происходит, – это уже не просто преступление. Это плевок в лицо памяти. В лицо всем, кто пытается что-то понять. Я не могу этого просто наблюдать.

Он изучал ее лицо. В нем не было геройства, лишь упрямая, интеллигентская убежденность в том, что правду нужно искать, даже если она страшна.

– Хорошо, – согласился он, чувствуя, как переступает незримую черту. – Но любую информацию – только мне. Лично. И будьте осторожны. Очень осторожны.

– Договорились, – она кивнула. – А вы... что вы будете делать дальше?

– Попробую пройти по пометке. «Архив. Фонд 7. Оп.1. Ед.хр. 23». Нужно найти, что это за единица хранения. И почему именно она.

Они расплатились и вышли на улицу. Уже смеркалось. Фонари на Петровке зажглись, отбрасывая на мокрый асфальт длинные, дрожащие тени. Они постояли молча.

– Я позвоню вам, – сказала Нина, надевая перчатки. – Как только что-то узнаю.

– Я буду ждать.

Он смотрел, как она уходит, стройная, прямая фигура, растворяющаяся в вечерней толпе. У него появился союзник. Неофициальный, рискованный, но чей ум и знания могли быть единственным способом расшевелить этот замерзший болото.

Вернувшись в управление, он направился напрямик к Воронину. Тот был на месте, работал с бумагами. Выслушал доклад о втором убийстве, о найденной цитате. Его лицо оставалось непроницаемым.

– Лидин... – произнес он наконец, откладывая перо. – Слышал такую фамилию. Пропал в годы войны, кажется.

– Товарищ полковник, мне нужен доступ к конкретному делу в архиве. По этой пометке.

– Матвеев, – Воронин снял очки, медленно протер стекла платком. – Ты понимаешь, что каждое такое твоё действие – это шаг по минному полю? Убийца явно ведет тебя. Подталкивает копать в определенном направлении. А что, если это ловушка? Не только для тебя?

– А что, если это единственный путь его найти? – парировал Матвеев. – Он умный. Он издевается. Но он и тщеславен. Он оставляет следы, потому что уверен, что мы их не расшифруем или побоимся по ним идти. Я должен попробовать.

Воронин долго смотрел на него, и в его взгляде мелькало что-то сложное – досада, уважение, усталость.

– Ладно. Запрос оформлю. Но, Лев... – он снова перешел на «ты», и это звучало почти по-отечески, но без тепла. – Осторожнее с этими... литературными связями. Журналисты – народ ненадежный. Сегодня помогают, завтра статью разгромную напишут. Не давай повода.

Матвеев вышел, не став рассказывать о договоренности с Ниной. Он чувствовал, как между ним и начальником вырастает стена. Прозрачная, но прочная. Воронин помогал, но одновременно предостерегал. Как будто видел впереди пропасть, на край которой неуклонно двигался его подчиненный.

Вечером, дома, в своей маленькой комнате в коммуналке на окраине (комната была его главным московским приобретением, с отдельным входом, но с общей, вечно пахнущей щами кухней), он снова разглядывал копию листка. Стихи говорили о забвении, о страхе, о сини как

обмане. Убийца выбрал их не случайно. Он отождествлял себя с этими чувствами? Или мстил за них?

Матвеев подошел к окну. Москва внизу была усеяна огнями. Где-то там, в этой огромной, сложно устроенной машине, двигался человек, который считал себя вправе вершить правосудие над памятью. Который убивал, чтобы скрыть какую-то старую правду, и при этом демонстративно указывал на нее. Это была извращенная логика, логика абсолютной власти: я стираю тебя, но оставляю знак, что именно я это сделал. Потому что ты – ничто, а я – все.

Он потушил свет и лег, но сон не шел. Перед глазами стояли два лица: спокойное, застывшее лицо Оли Светловой на скамейке и умное, живое лицо Нины Семеновой в кафе. Между ними вилась шелковая, ядовито-синяя лента, и тянулась нить, уходящая в темноту прошлого, в тот самый Фонд 7, где хранились не только бумаги, но и, возможно, ответы, за которые уже заплачено двумя жизнями. И он чувствовал – платить придется еще.

Тени тридцатых

Дождь начался под утро, мелкий, назойливый, превращавший московские улицы в зеркала, отражающие серое, бескостное небо. Матвеев ехал на трамвае, глядя, как капли стекают по стеклу, размывая контуры домов. Город казался смытым, неясным, как плохо проявленная фотография. У него в кармане лежала записка от Нины Семенович, переданная через дежурного в управлении: «Артамонов согласился. Сегодня, 15:00, его квартира. Будет только я. Приходите как мой знакомый, интересующийся историей литературы. Никаких форм».

Он вышел на остановке у Арбата и углубился в лабиринт переулков. Здесь время текло иначе. Высотки остались где-то позади, здесь властвовали двух-трехэтажные особняки, покосившиеся заборы, дворы-колодцы с вековыми тополями. Воздух пах сыростью, прелыми листьями и дымком из печных труб – многие дома еще не были подключены к центральному отоплению. Квартира профессора Артамонова находилась в одном из таких особняков, разделенного на множество клетушек. Подъезд встретил его запахом капусты, мышей и старой штукатурки. Лестница скрипела под ногами, ступени были стерты до вогнутости посередине.

Дверь открыла Нина. Она была в том же строгом платье, но казалась еще более собранной, даже напряженной. Кивнув, она пропустила его внутрь.

Квартира была не просто старой – она была законсервированной. Небольшие комнаты с высокими потолками, заставленные темной, массивной мебелью дореволюционной работы. Книги везде: на полках, стопками на полу, на подоконниках. Воздух был густым от запаха бумажной пыли, нафталина и какого-то сладковатого лекарственного настоя. Тишина стояла абсолютная, давящая, будто звук боялся нарушить хрупкое равновесие этого пространства.

В гостиной, в глубоком кресле у печки-буржуйки, сидел человек. Профессор Артамонов. Он был очень худ, почти прозрачен. Лицо, испещренное сетью тонких морщин, напоминало старую, высохшую пергаментную карту. Большие, не по-старчески яркие глаза смотрели из-под густых седых бровей с острым, испытующим вниманием. На нем был потертый домашний пиджак и шерстяной плед на коленях.

– Лев Анатольевич, это профессор Артамонов, – тихо представила Нина. – Ипполит Сергеевич, это тот человек, о котором я говорила.

Артамонов не протянул руки, лишь слегка кивнул, жестом указав на стул напротив. Матвеев сел, ощущая жесткость бархатной обивки. Нина разместилась чуть в стороне, у книжной полки, будто стараясь стать частью интерьера.

– Нина Павловна говорит, вы интересуетесь историей литературных кружков конца двадцатых годов, – начал Артамонов. Голос у него был сухой, шелестящий, как страницы старой книги. – Конкретно – «Голубой лентой». Любопытный выбор. Не самое известное объединение.

– Мне кажется, их история может пролить свет на некоторые современные события, – осторожно сказал Матвеев.

Глаза старика сузились.

– Современные события? Убийства этих несчастных девушек? Так вы не просто любитель истории. Вы – следователь.

Матвеев не стал отрицать. Молчание было ответом.

– Я так и думал, – Артамонов тяжело вздохнул. – Нина Павловна, вы втягиваете старика в опасные игры.

– Ипполит Сергеевич, люди гибнут, – тихо, но твердо сказала Нина. – И гибнут, судя по всему, из-за той самой истории, о которой никто не хочет говорить.

– Не «не хочет», – поправил ее профессор. – «Не может». Или «боится». Разница существенна.

Он помолчал, его взгляд устался в потухшую печку, будто в ее черной пасти он видел что-то из далекого прошлого.

– «Голубая лента»... – произнес он наконец, растягивая слова. – Собирались с осени 1928-го по весну 1932-го. Молодежь. Студенты, начинающие литераторы, несколько художников. Человек двадцать, не больше. Название – от стихов Лидина. Он был... душа этого собрания. Талантливый, ранимый, одержимый идеей чистой, вневременной красоты. Собирались обычно здесь, на Арбате, в квартире одного из участников. Читали стихи – свои и чужие. Блока, Есенина, французских символистов. Спорили о смысле творчества, о месте художника в новом мире. Ничего антисоветского. Нет. Скорее... аполитичного. Они пытались создать свой, маленький, отгороженный от шума стройки мир. Мир из книг, музыки и разговоров.

Он замолчал, поправляя плед на коленях. Его пальцы, длинные, узловатые, дрожали едва заметно.

– Атмосфера в стране менялась. Кончилась относительная вольница НЭПа. Начиналось... укрепление. Требовалась не просто лояльность, а энтузиазм, полное растворение в коллективе. А они – индивидуалисты. Мечтатели. Их молчание уже стало восприниматься как вызов. На них начали поглядывать. Сначала в стенах институтов – комсомольские собрания, проработки «упадочнических настроений». Потом... стали исчезать.

– Исчезать? – тихо переспросил Матвеев.

– Сначала один. Потом другой. Не приходили на собрания. Говорили – уехал к родственникам, перевелся на другую работу. Но шептались. Что их «пригласили побеседовать». Что они дали какие-то показания. Страх поселился в их уютной комнате с книгами. Он витал в воздухе, как запах гари от еще невидимого пожара.

Артамонов поднял глаза на Матвеева. В них была бездонная, старческая усталость.

– Вы спрашиваете о судьбе. Судьба была типичной. Весной 1932-го прошли аресты. Не всех. Шестерых или семерых. Остальных... проработали. Заставили отречься, осудить, написать разгромные статьи в стенгазеты. Кружок перестал существовать. Не по приказу. Он сам растворился в страхе. Как сахар в холодном чае.

– А те, кого арестовали? – не отступал Матвеев, чувствуя, как холодный ком подкатывает к горлу.

– Те? – профессор горько усмехнулся, и этот звук был похож на скрип ржавой петли. – Осуждены по 58-й. Контрреволюционная агитация. Сроки – от пяти до десяти. Лагеря. Дальнейшая судьба... – он развел руками. – Кого-то расстреляли потом, в тридцать седьмом. Кто-то стигнул на лесоповале. Один, кажется, вышел после войны инвалидом и где-то доживает в глухой деревне. Их стерли. Не просто убили. Вычеркнули из истории. Собрание их сочинений,

которое они планировали издать крошечным тиражом, было уничтожено в типографии. Рукописи изъяты. Упоминания в периодике – вырезаны. Остались только следы в архивах НКВД да... да в памяти таких вот старых дураков, как я.

В комнате повисла тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в буржуйке и тиканьем маятниковых часов в углу.

– А дело? Официальное следственное дело? – спросил Матвеев.

– Дело? – Артамонов посмотрел на него с каким-то странным сочувствием. – Молодой человек, вы наивны. Какое «дело»? Была справка. Решение «тройки». Или особого совещания. Бумаги. Которые потом... – он сделал неопределенный жест рукой, – могли и затеряться. Или быть уничтоженными по акту. Чтобы не засорять архивы. Чистка, понимаете? Чистка памяти.

Матвеев вспомнил пометку «Фонд 7». Идеально организованный архив, где, тем не менее, целое дело могло бесследно испариться, оставив после себя лишь пустую графу в журнале.

– Профессор, – осторожно начал он. – Почему сейчас? Почему кто-то начал убивать из-за этого, спустя двадцать с лишним лет?

Артамонов долго смотрел на него, будто взвешивая, сколько можно сказать.

– Потому что прошлое – это не покойник, – произнес он наконец. – Это раненый зверь, который может приползти и укусить, когда его считают мертвым. Вы разворошили это прошлое. Та девушка, студентка... она была любопытна. Она наткнулась на след. А в нашем мире, капитан, некоторые следы охраняются. Не архивами. Нет. Теми, кто считает себя хранителями... порядка. Порядка, в котором нет места таким историям.

– Кто они? – спросила Нина, впервые вмешавшись в разговор.

– Они? – Артамонов усмехнулся снова, но в этот раз в усмешке была горечь. – Они везде и нигде. Это не конкретные люди в шапках-ушанках. Это... система взглядов. Убеждение, что некоторые страницы истории должны оставаться наглухо заклеенными. Что вскрывать их – преступление против государства. А преступников... наказывают.

– Вы говорите, будто убийца – не маньяк, а... исполнитель некой высшей воли, – сказал Матвеев.

– Я не знаю, кто он, – резко оборвал его старик. – Я знаю, что логика у него может быть именно такой. Он не просто убивает. Он наводит порядок. Стирает следы. Уничтожает тех, кто пытается эти следы разглядеть. Ваши девушки... они пытались разглядеть. И за это заплатились. Синяя лента... это ведь не просто знак убийцы. Это, может быть, знак той самой «Голубой ленты». Клеймо. Он метит их, как когда-то метили их предшественников – клеймом «враг народа». Только теперь метка стала буквальная.

Матвеев почувствовал, как теория, бывшая до этого смутной догадкой, обретает чудовищные, но четкие очертания. Убийца мстил за прошлое? Или охранял его тайну? Или и то, и другое одновременно?

– Профессор, – настаивал он. – Среди арестованных, среди тех, кто «исчез»... был ли кто-то, кто... выжил иначе? Кто мог изменить свою судьбу? Сотрудничать?

Артамонов замер. Его лицо стало совершенно неподвижным, маской из желтого воска.

– Такие вопросы, молодой человек, лучше не задавать. Ни мне. Никому.

– Это важно.

– Важно для вас. А для того, о ком вы спрашиваете, это может быть вопросом жизни и смерти. До сих пор.

Он откинулся в кресле, закрыв глаза. Казалось, он вдруг очень устал, стал меньше ростом.
– Уходите, пожалуйста. Я сказал все, что мог. Больше – ничего не знаю. И знать не хочу.

Нина встревоженно посмотрела на Матвеева, давая знак. Он понял – дальше давить бесполезно. Старик сказал главное: убийства были не безумием, а продолжением давней, не закрытой расправы. Система, запущенная тогда, в тридцатых, все еще работала, находила новые жертвы, чтобы скрыть старые грехи.

Они молча вышли в прихожую. Артамонов не провожал их. Когда Нина уже взялась за ручку двери, из гостиной донесся его голос, тихий, но отчетливый:

– Капитан.

Матвеев обернулся.

– Будьте осторожнее, чем они. И умнее. Потому что сила – на их стороне. Всегда была.

Дверь закрылась. Они спустились по скрипучей лестнице и вышли в сырой, промозглый переулочек. Дождь не утихал. Они постояли под кроной голого тополя.

– Вы верите ему? – спросила Нина, кутая лицо в воротник пальто.

– Верю, что он рассказал правду. Ту, которую знает, – ответил Матвеев. – Но он что-то не договаривает. Про того, кто мог «сотрудничать». Выжить, сменив кожу.

– Вы думаете, убийца может быть... из них? Из тех, кто сдал своих товарищей?

– Или сыном того, кто сдал. Или... – Матвеев замаялся, – тем, кто эти аресты проводил.

Кто чувствует, что его «чистая» работа теперь может быть раскрыта, опорочена. И мстит за это. Или подчищает хвосты.

Нина вздрогнула – не от холода.

– Это кошмар.

– Это логика, – мрачно поправил Матвеев. – Холодная, железная логика. Если ты часть машины, которая перемалывала людей, и ты верил, что это было правильно... а теперь приходят какие-то девчонки с томиком Бодлера и тычутся носом в старые бумаги... Что ты почувствуешь? Ярость. Желание защитить не просто себя, а весь миропорядок, в котором ты существовал.

– Что будем делать?

– Нужно искать того, кто выжил. Не в лагере. А в системе. Того, кто смог «изменить кожу», как сказал профессор. Артамонов знает или догадывается, кто это. Но не скажет. Боится.

– Может, через архивы? Через тот самый Фонд 7?

– Архивы уже подчищены. Но... – Матвеев вспомнил оговорку Воронина, о том, что некоторые дела уничтожались в конце сороковых. Значит, был приказ. Значит, кто-то этим занимался. Кто-то, у кого был доступ и интерес скрыть именно это дело. Нужно искать не дело «Голубой ленты», а документы о его уничтожении. Или... о его изъятии.

Он попрощался с Ниной, договорившись о следующем звонке, и пошел пешком к метро. Дождь бил в лицо, но он почти не замечал. В голове крутились обрывки фраз, образы. Молодые люди в уютной комнате, читающие стихи. Потом – страх, шепот, ночные аресты. Лагерная

пыль, стирающая имена. И – прыжок во времени. Москва пятидесятых, сияющие новостройки, и на их фоне – изящная, театральная жестокость. Синяя лента как мост между эпохами.

Он представлял себе этого человека. Не сумасшедшего в привычном смысле. Холодного, педантичного, уверенного в своей правоте. Возможно, с хорошей должностью, с доступом к благам, которые дает система. Человека, который однажды, в тридцать втором, сделал выбор – предать, чтобы выжить, или подписать приговор, чтобы продвинуться. И теперь, когда призраки прошлого начали шевелиться в чужих, любопытных руках, он взялся за дело ликвидации. Не из страха разоблачения – для этого давно нет доказательств. Из принципа. Из желания доказать, что он был прав тогда. Что стирание – это норма. Что лента, которую он вплетает в волосы мертвых, – это не просто метка, а высшая награда за молчание, которую он им дарует. Или страшная ирония.

В управлении его ждала записка от Воронина: «Заходи, когда вернешься». Матвеев, не раздеваясь, прошел в кабинет начальника.

Воронин сидел за столом, перед ним лежала тонкая папка. Он указал Матвееву на стул. – Ну? Что удалось выяснить у старого профессора?

Матвеев, опуская детали о Нине, изложил суть: кружок, аресты, стирание следов, теория о «хранителе порядка».

Воронин слушал, не прерывая, глядя в окно на струи дождя.

– Интересная гипотеза, – произнес он наконец. – Очень... литературная. Но, Лев, ты строишь целую концепцию на словах запуганного старика, который мог что-то придумать или преувеличить. Где доказательства? Где связь между арестами в тридцать втором и убийствами сейчас? Только лента? Ленты продаются в любом галантерейном магазине.

– Связь – в мотиве, товарищ полковник. В логике уничтожения памяти.

– Память – это не улика! – голос Воронина оставался ровным, но в нем появилась стальная прожилка. – Нельзя предъявить обвинение «памяти» или «системе взглядов». Тебе нужен конкретный человек. С ножом или веревкой в руках. А ты идешь в архивы, беседуешь с литераторами... Сухов уже шепчет, что ты забросил оперативную работу.

– Майор Сухов предпочел бы искать пьяного дворника, – резко сказал Матвеев. – Но этот убийца не дворник. Он умный. И он бьет точно в цель. Он убил библиотекаршу, которая помогала Светловой. Значит, он знал об ее интересе. Значит, у него есть доступ к информации или он следил. Это не случайность.

Воронин помолчал, потом открыл папку перед собой.

– Я сделал запрос. Официальный. О судьбе членов кружка «Голубая лента». Ответ пришел сегодня. – Он вытащил листок бумаги с машинописным текстом и гербовой печатью. – «По имеющимся сведениям, неформальная группа лиц, именованная себя „Голубая лента“, самоликвидировалась в 1932 году в связи с отъездом большинства участников на комсомольские стройки и в ряды РККА. Фактов репрессий в отношении членов группы не зафиксировано. Архивные материалы, касающиеся деятельности группы, в 1949 году были отобраны для централизованного учета и в настоящее время находятся на переработке. Доступ временно ограничен».

Он положил листок на стол. Глаза его были пусты.

– Вот официальная правда, капитан. Все, что у нас есть. Все, что будет у нас, если ты продолжишь копать в эту сторону. «Не зафиксировано». «На переработке». Понимаешь?

Матвеев понимал. Ему показали стену. Официальную, гладкую, непроницаемую. Любое движение в сторону «незафиксированных» репрессий теперь будет выглядеть не как расследование, а как клевета. Как подрыв доверия к органам.

– Значит, убийца прав, – тихо сказал Матвеев, глядя не на Воронина, а на печать на бумаге. – Система действительно защищает его. Она уже дала ответ. Ответ – молчание.

– Она защищает не его, – поправил Воронин, и в его голосе впервые прозвучала глубокая, выстраданная усталость. – Она защищает саму себя. Стабильность. Видимость порядка. Раскачивать лодку сейчас... тебе не простят. Ему – тем более.

Матвеев поднялся. Он чувствовал себя так, будто прошел долгий путь по темному коридору и уперся в глухую, окованную железом дверь. За ней слышалось тихое посмеивание.

– Что вы приказываете, товарищ полковник?

– Я приказываю тебе работать с фактами, а не с призраками, – сказал Воронин, но в его тоне не было прежней жесткости. Было что-то вроде... сожаления. – Искать на месте преступления, а не в тридцать втором году. Убийца сделает ошибку. Всегда делают. Лови его на ошибке.

Матвеев вышел. Он знал, что Воронин по-своему прав. И знал, что не послушается. Потому что ошибка убийцы уже была – его тщеславие. Он вел диалог. Он оставил цитату. Он вел Матвеева за собой, уверенный в своей неуязвимости. И это был единственный след, который нельзя было затереть официальной справкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.